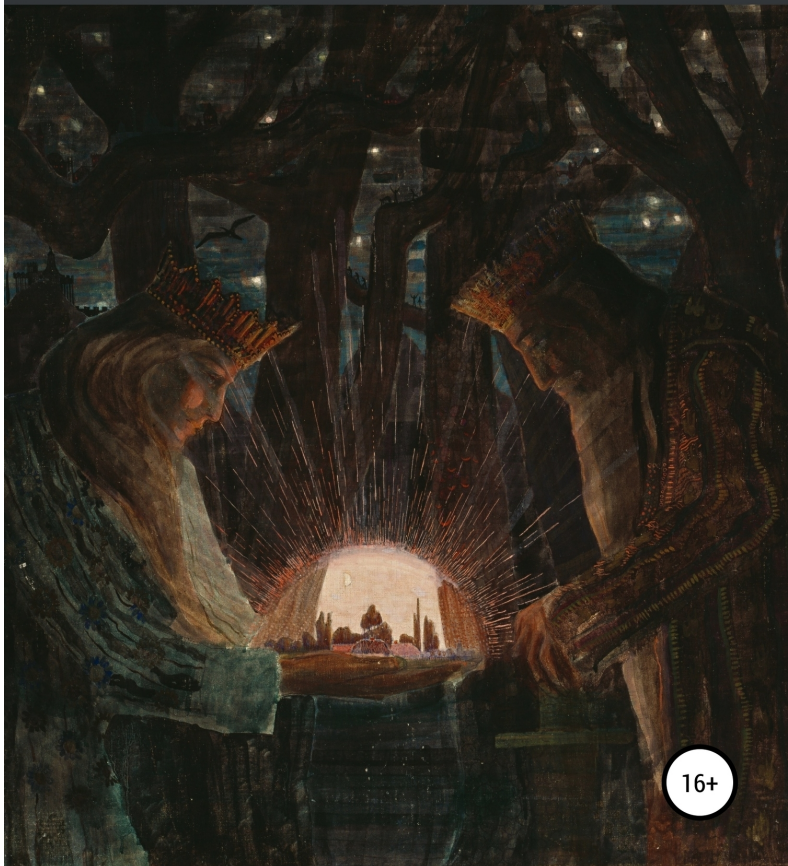


Михаил Зуев

Кожа



16+

Михаил Борисович Зуев

Кожа

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=60957421
SelfPub; 2020*

Аннотация

Роман о том, как мы были неприлично юны и свежи, и я любил её, а она любила другого, а я страдал, и ждал её везде, и всё-всё зря, а через пятнадцать лет я сидел на кухне у этого другого, а он собирался эмигрировать, и только тогда, от меня, узнал, что она любила его, и удивился, а пятнадцать лет назад и не подозревал, и мы выпили, а он уехал далеко и навсегда, а я потом приехал в её город, и позвонил ей, и хотел сказать, что он и не подозревал, а ты-то, а потом понял, какая же я сволочь, если скажу, и трубку положил, не сказав и слова, и она так никогда и не узнала, что он и не понял, а я вдруг улыбнулся, и как наваждение какое с плеч долой, а всё же иногда да тихонечко жалко, что мы были так неприлично юны, и я любил её.

Содержание

I. [ПЫЛЬ]	4
II. [ТАМАГОЧИ]	7
III. [МАРИНА]	13
IV. [СТРАННИК]	17
Конец ознакомительного фрагмента.	22

I. [ПЫЛЬ]

Пыль. Весна. Тогда. Восьмидесятый. Плющиха. Гроза.
Промок.

Коммуналка. Коридорище. Берлога. Пипл. Портвейн.
«Дымок». «Столичная». «Роллинги». Темнеет.

- Здравов! Мишка.
- Прива! Ёлка.
- Врешь!
- Ольга...

Рано. Сыро. Зябко. Звезды. Плющиха. Дверь. Пятак. Метро.

- Пока!

Телефон. Обрывок. Карандаш.

- В пять!

Арбат. Коммуналка. Коридорище. Обитель.

- Квас?
- Давай!

Армянский. КВВК. Жарко. Окно. Подоконник. Карниз.
Голуби. «Мальборо».

Простыня. Рано. Сыро. Зябко. Звезды.

- Завтра?
- Нет.
- Почему?
- Пишусь.
- Что?
- На студии!
- Ну-у-у!
- Ага ...
- Послушаем?
- Железно!
- Эллочка.
- Идъёт!

Неделя. Неделя. Неделя. Один. Устал.

- Аллё!
- Ну?
- Слушаем!

– Когда?!

– Завтра!

Завтра. Облом. Обман.

– Идъётка!..

– Пш-ш-шёл!

Иду.

Теперь. Весна. Десятый.

Сон.

– Здравствуй!

Гугл? Пусто. Яндекс?.. Нет. Торренты? Архивы?.. Есть!
Download.

Знобит.

Небо. Синь. Шоссе. Кабриолет. Play! И?..

Пыль.

II. [ТАМАГОЧИ]

А он всегда был такой, немного медленный. Не потому, что глупый, а потому что – добрый.

Он, когда еще не родился, у него уже были мать, отец, бабушка и старший брат; они в малосемейке жили. Мать пошла в профком, спросить про очередь на квартиру. Говорят – у вас шансов мало, потому что вас трое: вы, муж и сын, а мать ваша не в счет. Вот если бы детей было двое, тогда, конечно же, ну а как же, когда четверо, так тут и очередь другая, особая, и иждивенца, мать вашу, тогда тоже учесть можно, а так вот – как сейчас – так никак.

Ну, вот он и родился. Они в профкоме не врали – ему еще и полугода не было, а квартиру дали. Обычных тогда не было, дали особую, на четвертом, последнем этаже, четырехкомнатную, да с такой планировкой: как зайдете, так налево две комнаты, туалет и ванная, направо – кухня, а прямо тоже две комнаты. Эти две между собой через дверь смежные, а еще у каждой по двери в коридор. И такое кольцо из комнат получается, а если все двери открыть, очень светло и просторно сразу становится.

Бабушка сказала – старший уже в школу пошел, а младшего я в сад-то не отдам, мне скучно будет. Так он дома остался, прямо до школы. Бабушка старая совсем уже была, немощная, вот как он в школу пошел, так ее и не стало. Ему тогда ее комнату выделили целиком. Он там за столом сидеть любил. Не уроки делать, нет, уроки-то он как раз не любил. А вот модели клеить – корабли там всякие, самолеты – это любил. В комнате ацетоном сильно пахнет, это от клея, а он сидит, клеит их, так аккуратно-аккуратно, красиво-красиво, а потом на длинные лески к потолку подвешивает. Зайдешь к нему в комнату, а там никакая не комната, а музей настоящий.

Когда в школу его отдавали, школа-то на соседней улице была. Но тут мать сходила туда, обратно пришла, отцу говорит – не отдам его туда, там совсем для дураков, и грязно, и сквозняки в коридорах. Тогда отдали его в другую, где старший раньше учился, там педагоги сильные, и школа на весь район лучшая, а, может, и на весь-весь город.

Учился он ни хорошо, ни плохо. Учителя его потом просто замечать перестали. В середине восьмого класса мать в больницу надолго попала, на химиотерапию. А он, как без матери остался, стал ходить без шарфа и шапки. Простудился, всю третью четверть пропустил. Отца в школу вызвали, говорят – не можем его в девятый перевести, не успевает, за-

бирайте, решайте, куда потом. Отец у начальника цеха своего спросил, тот говорит – так давай в наш заводской техникум. У нас и школу закончит, и профессию получит, и стипендии у нас две – одна как у всех, а вторая от завода, это для тех, кто успехи показывает.

Он в техникуме учился лучше, чем в школе. Ему там интереснее было. Веселее, что ли. А, может, повзрослел – по дому все делать приходилось. Мать в больнице, старший брат на работе пропадает с утра до вечера, как и отец. Оба приходят по вечерам усталые, чуть ли не с ног валяются. Вот он и хозяйничал. Убирал, стирал, готовил, в магазин ходил. И слова им грубого не сказал.

А мать на год дольше отца прожила. Отец буквально весной, прямо на работе. Он машинистом козлового крана был. Глядь – а кран встал. Залезли на верхотуру, а он и не дышит, только глаза открыты и рука на ручке.

Старший женился, переехал, сначала за две улицы, а потом и вовсе в другой город. У жены там вся семья, тесть старшему сказал: приезжай, я тебя устрою как надо, не то, что в этом твоём цеху дурачком.

Тут, в конце второго курса, у него производственная практика была. Он на фрезерном станке работал. Станок встал.

Он табличку повесил – «не включать, работают люди!» – обесточил станок, полез разбираться. Какая сволочь рубильник включила, потом искали, не нашли. А, может, и не искали.

Токарно-фрезерный участок был рядом со столовой. Поэтому успели, за льдом побежали, за пакетом целлофановым. Отрезанную фрезой кисть правой в мешок, да в лед, да жгут на предплечье. Скорая быстро приехала, в хирургию заводской больницы отвезли. А они там говорят – а мы-то что можем, это в область надо. Повезли в область, сто сорок километров это. Ночью уже привезли, на стол взяли, пришили обратно. Хирурги морщились нехорошо – вот если бы по предплечью, там бы легче, а так прямо же по лучезапястному, да еще и косо, да еще и с выломанными фрагментами, вот как теперь, а кто знает – да никто.

Он полгода в области лежал. Мать не дождалась. Он на похороны съездил, потом вернулся. Два раза отъезжала кисть, два раза пришивали, а с каждым разом все хуже и хуже – какие там движения, сплошной отек и свищи. Третьего раза не было. Отняли кисть. Правую. А ему девятнадцать.

Он домой вернулся, все бумаги на инвалидность оформил. Пришел домой к нему директор техникума, говорит, собирайся, доучиваться будешь, это ничего что так, вторая-то

у тебя на месте, да и черт бы с ней, что левая, все равно научишься всему, и не хуже тех, кто с двумя.

Он в техникуме восстановился, в новую группу пришел, а там она. Они сразу стали ходить, за руки держась. Он справа, она слева – потому, что иначе никак. Она скоро к нему переехала. Квартира большая, четыре комнаты, и нет там никого. Когда тепло было, они по вечерам на подоконник любили садиться, курить и пить кофе. Ей нравилось в одной руке держать свою сигарету, в другой его. И ему тоже нравилось.

Они потом поссорились, она расплакалась и убежала. А он все ходил по этим своим комнатам двум смежным с коридором – кругами ходил, все против часовой. Будто хотел, чтобы время назад пошло, и вернулась она.

Неделю ее не было. Вернулась. Они хорошо жили, душа в душу. Она уже на втором месяце была, а он что-то ей сказал, а она сказала, а он сказал, а она тоже сказала... И ушла. Он через неделю к ее родителям пошел, а они его на порог не пустили. Говорят, она тебя видеть не хочет. Он говорит – ну почему, я же пришел. А тут она вылетает на лестничную клетку, вся злая, красная, чужая, а за ней мать ее лыбится зло, ну вот она и говорит – да ты урод безрукий, нужен ты мне! И вообще – я аборт сделала.

Он домой пришел. Спать не может. Сидеть не может. Лечь не может. Ничего не может. Пить начал. А пить-то не умел. Выпьет рюмку-другую, и все кругами через пустые комнаты ходит. Потом посмотрит – а в бутылке еще много. Допьет все и на пол падает.

Так недели две было. Он уже и утро с вечером стал путать. Как-то в сумерках, видит, она на подоконнике сидит. Он ее окликает, она не оборачивается. Он к ней, а она долой. Он за ней. В окно и вышел.

Всегда был такой. Немного медленный.

III. [МАРИНА]

Коротко и противоречиво. Коротко, как ее дыхание. И противоречиво, как она.

«М». Тягучее. Обволакивающее. Невозможно нежное.

Первое «А». Открытое, солнечное. Так хочется кричать в голос от радости. От того, что она есть.

«Р». Похоже на грациозное рычание большой красивой кошки, на дрожь в моих коленках, на вибрацию далекого шторма.

«И». Как плач ребенка, как беззастенчивость, как позывные неведомой радиостанции.

«Н». Серое, матовое, бездонное. Протяжное. Как ее глаза.

Последнее «А». Вечность, незавершенность. Не оставляющая путника надежда.

Марина – острое, опасное, влекущее.

Марине идут платья – длинные, тонкие, развевающиеся. Светлые, легкие, небесно-бирюзовые; красные, желтые, фиолетовые; с поясом и без, с рукавами, с оборочками. Всевозможные.

Марина не носит платьев. Марина выросла в джинсы. Хотя ей будут коротки самые длинные из них.

Если Марина остановится, поднимет голову и посмотрит на солнце, она улыбнется. Но Марина не останавливается. И Марина не улыбается. Она всегда в движении, она вся на бегу. Она убийственно серьезна.

У Марины есть часы. Точеные, швейцарские. Темный титановый браслет облегает ее тонкое запястье, которое способны обхватить пальцы пятилетнего ребенка.

Но Марине не нужны часы. Она не смотрит на них. Она всегда опаздывает. Ее всегда ждут. Так устроен мир. Ведь если не ждать Марину, тогда зачем всё это?

Когда в лицо дует теплый сентябрьский ветер, Марина расправляет плечи. Марина перестает сутулиться. Марина проводит рукой по лицу и отгоняет непослушные тонкие белые пряди с высокого лба. Марина морщит нос. Марина становится похожей на несмышленную семилетнюю девчонку.

И тогда Марина замечает меня.

Марина сидит за столом, выставив тонкие острые локти. Марина что-то пишет угловатым колючим почерком. Марина морщит лоб; Марина перебирает пальцами по многограннику шариковой ручки. Марина творит. Я могу безнаказанно любоваться ею.

А в перерыве между парами Марина хочет курить. Она смотрит на меня. Мне холодно; я достаю пачку, я щелкаю зажигалкой, я обжигаю пальцы маленьким пляшущим язычком. Но она уже далеко, и ей не нужны мои сигареты.

Если Марина наденет шпильки, это будет равнозначно концу света. Но она об этом не знает. Поэтому она исполняет грациозный танец своей походки в белых пружинистых кроссовках.

Марина строга. Марина добра. Марина справедлива. Марина наивна. Марина часто смотрит на мир поверх тонкой легкой оправы своих тяжелых очков. Марина протирает очки замшевым квадратиком. Марина массирует усталые темные веки.

Марина нервничает. Марина капризничает. Марина недо-

вольна всеми. Марина снисходительна.

Марина любит холодное шампанское и горький шоколад. Хотя иногда она может отведасть горечи. Марина подарила мне книгу. И она написала несколько слов внутри.

Все говорят, что я дурак. Неправда: у нас всё будет хорошо. Я в этом уверен.

Всё обязательно будет хорошо. Вчера Марина сказала, что не любит меня.

IV. [СТРАННИК]

Человек пришел в город ранней весной, когда утром лужи блестели последним льдом, когда несмело прочищали осипшие от зимы глотки птицы, когда солнце пробовало себя, все дольше и дольше задерживаясь в зените.

Человек был не стар и не молод, не высок и не низок. Человек пересек по диагонали ратушную площадь, остановился возле замшелой стены старого готического особняка, поднял голову и стал смотреть в небо.

Вокруг него текла, вернее – обтекала его суета обычного, такого же, как и много месяцев назад (и много месяцев спустя), обыкновенного утра. Сновали молочники и зеленщики, служанки подметали подолами длиннющих складчатых юбок мостовые, мальчишки крутили хвосты облезлым кошкам и гоняли пятнистых голубей.

Никому не было дела до человека. Он просто смотрел в небо, а город не обращал внимания на него. Однако – что-то изменилось в городе; и не сразу стало понятно, что же именно. Просто в том месте неба, куда был направлен взор человека, спустя какое-то время, образовалась прогалина абсо-

лютно чистого и совсем голубого неба.

Впрочем, городу не было дела до неба. А человеку – до города.

Настало время полудня, и не было видно на улицах человека. Впрочем, когда пришло время раннего вечера, говорят, видели его в тот день на берегу старой неспешной реки, недалеко от самого красивого моста – там, где цветут кувшинки и водяные лилии. Но не было цветов, потому что еще далеко оставалось до лета, а просто – сидел на берегу человек, о чем-то думал, подкармливал рыбу хлебными крошками, и смотрел в самое сердце начинающегося заката.

На следующий день видели человека на главной улице города, где снял он себе лавку. Даже не лавку, лавчонку какую-то – с грязными подслеповатыми оконцами, с покосившимися покрытыми толстым слоем пыли стеллажами, с неровным земляным полом. Но это не расстраивало человека – он сбросил камзол, засучил рукава белой кружевной рубашки, и к вечеру лавка стала совсем другой – чистой и уютной. Около пяти пополудни прохожие удивленно рассматривали стоящего на высокой стремянке человека, прилаживавшего над свежевывмытыми окнами вывеску «Лавка чудес».

Маленькая девочка, дождавшаяся, когда вывеска будет

приложена, а стремянка убрана в чулан, стала первой покупательницей лавки чудес. Всего за несколько монеток получила она прекрасную куклу с золотыми волосами, и немедленно утащила домой. Следующей ночью кукла светилась золотым светом; а мелких монет в девочкином ридикюльчике почему-то стало больше, чем до появления куклы. Наутро девочка пошла в школу, забыв на столе очки, и, скажем, забегая вперед, никогда больше они ей не понадобились.

Прохожие несмело, по одному, заходили в непонятную лавку – ведь какие такие могут быть на свете чудеса? – и правда, каждый знает, чудес на свете не бывает. Только каждый, по одному, крадучись, выходили спустя время из лавки, и шли себе неспешно по главной улице, загребая уличную пыль носками широких грубых ботинок, и улыбались, а иногда – о, чудо! – смотрели ввысь, где было все больше и больше прогалин абсолютно чистого и совсем голубого неба.

Юноши повадились ранним утром брать в лавке цветы для своих возлюбленных – те цветы, что не вяли неделями, что источали аромат, и от чего девичьи взгляды становились светлыми и глубокими.

Старики носили из лавки особый табак для своих древних насквозь прокуренных трубок, что давал особые облака дыма – в которых прошедшая жизнь отражалась, как в зеркале,

и была видна только им одним; и не было в той жизни боли, сожаления и раздражения.

А человек? Человек стоял за прилавком и для каждого находил особый товар и особые слова, и особую улыбку. Открыта лавка была с раннего утра и до раннего утра; и не было понятно, когда же человек спит, и откуда товар берет, и даже как его зовут, никто не знал – в голову не пришло поинтересоваться.

В зените лета человек потчевал своих посетителей каким-то странным прохладным вином – немного с горчинкой, когда пьешь, но потом такая легкая сладость остается на языке и прохладных губах, и хочется жить, и совсем не болит голова.

Когда же настала пора сбора урожая, человек поставил на улице несколько столиков – и можно было после трудного дня посидеть на плетеных стульях странной конструкции и испробовать особого кофе, от него улетучивается дневная усталость, и утраиваются силы, и день кажется тягучим и чудесно бесконечным.

Плачущей осенью человек вышел на улицу, притворил тихо дверцы своей лавки и, не кутаясь в длинный плащ – напротив, обдуваемый всеми неуютными ветрами, бросил про-

щальный взгляд на город, на главную улицу, на ратушную площадь – и ушел из города прочь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.